

Оскар Уайльд
DE PROFUNDIS¹
Тюремная исповедь
Epistola: in carcere et uinculis²

Тюрьма *Ее*
Величества, Рединг.

Дорогой Бози!

После долгого и бесплодного ожидания я решил написать тебе сам, и ради тебя, и ради меня: не хочу вспоминать, что за два долгих года, проведенных в заключении, я не получил от тебя ни одной строчки, до меня не доходили ни послания, ни вести о тебе, кроме тех, что причиняли мне боль.

Наша злополучная и несчастная дружба кончилась для меня гибелью и позором, но все же во мне часто пробуждается память о нашей прежней привязанности, и мне грустно даже подумать, что когда-нибудь ненависть, горечь и презрение займут в моем сердце место,

¹ Из глубины (*лат.*).

² Послание: в тюрьме и оковах (*лат.*).

принадлежавшее некогда любви; да и сам ты, я думаю, сердцем поймешь, что лучше было бы написать мне сюда, в мое тюремное одиночество, чем без разрешения публиковать мои письма или без спросу посвящать мне стихи, хотя мир ничего не узнает о том, в каких выражениях, полных горя или страсти, раскаяния или равнодушия, тебе вздумается отвечать мне или взывать ко мне.

Нет сомнения, что мое письмо, где мне придется писать о твоей и моей жизни, о прошлом и будущем, о радостях, принесших горе, и о горестях, которые, быть может, принесут отраду, — глубоко уязвит твое тщеславие. Если так, то читай и перечитывай это письмо до тех пор, пока оно окончательно не убьет в тебе это тщеславие. Если же ты найдешь в нем какие-нибудь упреки, на твой взгляд незаслуженные, то вспомни, что надо быть благодарным за то, что есть еще провинности, в которых обвинить человека несправедливо. И если хоть одна строка вызовет у тебя слезы — плачь, как плачем мы в тюрьме, где день предназначен для слез не меньше, чем ночь. Это единственное, что может спасти тебя. Но если ты снова бросишься жаловаться к своей матери, как жаловался на то, что я с презрением отозвался о тебе в письме к Робби, просить, чтобы она снова убаюкала тебя льстивыми утешениями и вернула тебя к прежнему высокомерию и самовлюбленности, ты погибнешь

окончательно. Стоит тебе найти для себя хоть одно ложное оправдание, как ты сразу же найдешь еще сотню, и останешься в точности таким же, как и прежде. Неужели ты все еще утверждаешь, как писал в письме к Робби, будто я *«приписываю тебе недостойные намерения!»* . Увы! Да разве у тебя были хоть когда-нибудь в жизни какие-то намерения — у тебя были одни лишь прихоти. Намерение — это сознательное стремление. Ты скажешь, что *«был слишком молод»*, когда началась наша дружба? Твой недостаток был не в том, что ты слишком мало знал о жизни, а в том, что ты знал чересчур много. Ты давно оставил позади утреннюю зарю отрочества, его нежное цветение, чистый ясный свет, радость неведения и ожиданий. Быстрыми, торопливыми стопами бежал ты от Романтизма к Реализму. Тебя тянуло в сточную канаву, к обитающим там тварям. Это и стало источником тех неприятностей, из-за которых ты обратился за помощью ко мне, а я так неразумно, по разумному мнению света, из жалости, по доброте взялся тебе помочь. Ты должен дочитать это письмо до конца, хотя каждое слово может стать для тебя раскаленным железом или скальпелем в руках хирурга, от которого дымится или кровоточит живая плоть. Помни, что всякого, кого люди считают глупцом, считают глупцом и боги. Тот, кто ничего не ведает ни о законах и

откровениях Искусства, ни о причудах и развитии Мысли, не знает ни величавости латинского стиха, ни сладкогласной эллинской напевности, ни итальянской скульптуры или советов елизаветинцев, может обладать самой просветленной мудростью. Истинный глупец, кого высмеивают и клеймят боги, это тот, кто не познал самого себя. Я был таким слишком долго. Ты слишком долго был и остался таким. Пора с этим покончить. Не надо бояться. Самый большой порок — поверхностность. То, что понято, — оправдано. Помни также, что если тебе мучительно это читать, то мне еще мучительнее все это писать. Незримые Силы были очень добры к тебе. Они позволили тебе следить за причудливыми и трагическими ликами жизни, как следят за тенями в магическом кристалле. Голову Медузы, обращающую в камень живых людей, тебе было дано видеть лишь в зеркальной глади. Сам ты разгуливаешь на свободе среди цветов. У меня же отняли весь прекрасный мир, изменчивый и многоцветный.

Начну с того, что я жестоко виню себя. Сидя тут, в этой темной камере, в одежде узника, обесчещенный и разоренный, я виню только себя. В тревоге лихорадочных ночей, полных тоски, в бесконечном однообразии дней, полных боли, я виню себя и только себя. Я виню себя в том, что позволил всецело овладеть моей жизнью

неразумной дружбе — той дружбе, чьим основным содержанием никогда не было стремление создавать и созерцать прекрасное. С самого начала между нами пролегла слишком глубокая пропасть. Ты бездельничал в школе и хуже, чем бездельничал в университете. Ты не понимал, что художник, особенно такой художник, как я, — то есть тот, чей успех в работе зависит от постоянного развития его индивидуальности, — что такой художник требует для совершенствования своего искусства созвучия в мыслях, интеллектуальной атмосферы, покоя, тишины, уединения. Ты восхищался моими произведениями, когда они были закончены, ты наслаждался блистательными успехами моих премьер и блистательными банкетами после них, ты гордился, и вполне естественно, близкой дружбой с таким прославленным писателем, но ты совершенно не понимал, какие условия необходимы для того, чтобы создать произведение искусства. Я не прибегаю к риторическим преувеличениям, я ни одним словом не грешу против истины, напоминая тебе, что за все то время, что мы пробыли вместе, я не написал ни единой строчки. В Торки, Горинге, в Лондоне или Флоренции — да где бы то ни было, — моя жизнь была абсолютно бесплодной и нетворческой, пока ты был со мной рядом. К сожалению, должен сказать, что ты почти все время был рядом со мной.

Помню, как в сентябре 1893 года — выбираю один пример из многих — я снял квартиру исключительно для того, чтобы работать без помех, потому что я уже нарушил договор с Джоном Хзаром: я обещал написать для него пьесу, и он торопил меня. Целую неделю ты не появлялся. Мы — что совершенно естественно — разошлись в оценке художественных достоинств твоего перевода «Саломеи», и ты ограничился тем, что посылал мне глупые письма по этому поводу. За эту неделю я написал и отделал до мелочей первый акт «Идеального мужа», в том виде, как его потом ставили на сцене. На следующей неделе ты вернулся, и мне пришлось фактически прекратить работу. Каждое утро, ровно в половине двенадцатого, я приезжал на Сен-Джеймс-сквер, чтобы иметь возможность думать и писать без помех, хотя семья моя была на редкость тихой и спокойной. Но я напрасно старался. В двенадцать часов подъезжал твой экипаж, и ты сидел до половины второго, болтая и куря бесчисленные сигареты, пока не подходило время везти тебя завтракать в «Кафе-Рояль» или в «Беркли». Ленч, с обычными «возлияниями», длился до половины четвертого. Ты уезжал на час в клуб. К чаю ты являлся снова и сидел, пока не наступало время одеваться к обеду. Ты обедал со мной либо в «Савойе», либо на Тайт-стрит. И расставались мы

обычно далеко за полночь — полагалось завершить столь увлекательный день ужином у Виллиса. Так я жил все эти три месяца, изо дня в день, не считая тех четырех дней, когда ты уезжал за границу. И мне, разумеется, пришлось отправиться в Кале и доставить тебя домой. Для человека с моим характером и темпераментом это положение было и нелепым и трагическим.

Должен же ты хоть теперь все это понять? Неужели ты и сейчас не видишь, что твое неумение оставаться в одиночестве, твои настойчивые притязания и посягательства на чужое время и внимание всех и каждого, твоя абсолютная неспособность сосредоточиться на каких-либо мыслях, несчастливое стечение обстоятельств, — хотелось бы считать, что это именно так, — из-за которого ты до сих пор не приобрел «оксфордский дух» в области интеллекта, не стал человеком, который умеет изящно играть идеями; ты только и умеешь, что навязывать свои мнения, — притом все твои интересы и вожеления влекли тебя к Жизни, а не к Искусству, все это было столь же пагубным для твоего культурного развития, как и для моей творческой работы? Когда я сравниваю нашу дружбу с тобой и мою дружбу с еще более молодыми людьми, — с Джоном Греем и Пьером Луисом, мне становится стыдно. Моя

настоящая, моя высшая жизнь — с ними и с такими, как они.

Я не стану сейчас говорить об ужасающих последствиях нашей с тобой дружбы. Я только думаю о том, какой она была, пока она еще длилась. Для моего интеллекта она была губительной. У тебя были начатки художественной натуры, но лишь в зародыше. Но я повстречал тебя либо слишком поздно, либо слишком рано, — сам не знаю, что вернее. Когда тебя не было, все у меня шло хорошо. В начале декабря того же года, о котором я пишу, когда мне удалось убедить твою мать отправить тебя из Англии, я тут же снова собрал по кусочкам смятое и изорванное кружево моего воображения, взял свою жизнь в собственные руки и не только дописал оставшиеся три акта «Идеального мужа», но и задумал и почти закончил еще две совершенно несходные пьесы «Флорентийскую трагедию» и «La Sainte Courtisane»³. И вдруг, неожиданный и непрошенный, при обстоятельствах роковых, отнявших у меня всю радость, ты возвратился. Я уже не смог взяться за те два произведения, которые остались недоработанными. Невозможно было вернуть настроение, создавшее их. Теперь, опубликовав

³ «Святая блудница» (фр.) — Примеч. переводчика.

собственный сборник стихов, ты сможешь понять, что все, о чем я пишу, чистая правда. Впрочем, поймешь ты или нет, все равно эта страшная правда угнездилась в самой сердцевине нашей дружбы. Твое присутствие было абсолютно губительным для моего Искусства, и я безоговорочно виню себя за то, что позволял тебе постоянно становиться между мной и моим творчеством. Ты ничего не желал знать, ничего не мог понять, ничего не умел оценить по достоинству. Да я и был не вправе ждать этого от тебя. Все твои интересы были сосредоточены на твоих пиршествах и твоих прихотях. Ты всегда хотел только развлекаться, только и гнался за всякими удовольствиями — и обычными и не совсем обычными. По своей натуре ты в них всегда нуждался или считал, что в данную минуту они тебе необходимы. Я должен был запретить тебе бывать у меня дома или в моем рабочем кабинете без особого приглашения. Я всецело беру на себя вину за эту слабость. Да это и была только слабость. Полчаса занятий Искусством всегда значили для меня больше, чем круглые сутки с тобой. В сущности, в любое время моей жизни ничто не имело ни малейшего значения по сравнению с Искусством. А для художника слабость не что иное, как преступление, особенно когда эта слабость парализует воображение.

И еще я виню себя за то, что я позволил тебе довести меня до полного и позорного разорения. Помню, как утром, в начале октября 1892 года, мы сидели с твоей матерью в уже пожелтевшем лесу, в Брэкнелле. В то время я еще мало знал о твоём истинном характере. Однажды я провел с тобой время от субботы до понедельника в Оксфорде. Потом ты десять дней жил у меня в Кромере, где играл в гольф. Разговор зашел о тебе, и твоя мать стала рассказывать мне о твоём характере. Она говорила о главных твоих недостатках — о твоём тщеславии и о том, что ты, как она выразилась, «безобразно относишься к деньгам». Ясно помню, как я тогда смеялся. Я не представлял себе, что твоё тщеславие приведет меня в тюрьму, а расточительность — к полному банкротству.

Я считал, что некоторая доля тщеславия украшает юношу, как изящный цветок в петлице; что же касается расточительности — а мне показалось, что она говорила именно о расточительности, — то осмотрительностью и бережливостью ни я, ни мои предки никогда не отличались. Но не прошло и месяца с начала нашей дружбы, как я понял, что именно подразумевала твоя мать. Твое настойчивое желание вести безудержно роскошную жизнь, непрерывные требования денег, уверенность в том, что я должен платить за все твои развлечения, независимо от

того, делил я их с тобой или нет, все это привело меня через некоторое время к серьезным затруднениям, и, по мере того как ты все настойчивее захватывал мою жизнь, это безудержное расточительство становилось для меня все более докучным и однообразным, потому что деньги, в общем, тратились исключительно на еду, на вино и тому подобное. Временами приятно, когда стол алеет розами и вином, но ты ни в чем не знал удержу вопреки всякой умеренности и хорошему вкусу. Ты требовал без учтивости и принимал без благодарности. Ты дошел до мысли, что имеешь право не только жить на мой счет, но и утопать в роскоши, к чему ты вовсе не привык, и от этого твоя алчность росла, и в конце концов, если ты проигрывался в прах в каком-нибудь алжирском казино, ты наутро телеграфировал мне в Лондон, чтобы я перевел сумму твоего проигрыша на твой счет в банке, и больше об этом даже не вспоминал.

Если я тебе скажу, что с осени 1892 года до моего ареста я истратил на тебя более пяти тысяч фунтов наличными, не говоря о счетах, оплату которых мне пришлось брать на себя, то ты хоть отчасти поймешь, какую жизнь ты непременно желал вести. Тебе кажется, что я преувеличиваю? За день, который мы с тобой проводили в Лондоне, я обычно тратил на ленч, обед, развлечения, экипажи и прочее от двенадцати до двадцати

фунтов, что за неделю, соответственно, составляло от восьмидесяти до ста тридцати фунтов. За три месяца, что мы провели в Горинге, я истратил (включая и плату за квартиру) тысячу триста сорок фунтов. Шаг за шагом, вместе с судебным исполнителем, мне приходилось пересматривать все мелочи своей жизни. Это было ужасно. *«Скромная жизнь и высокие мысли»*, конечно, были уже тогда идеалом, который ты ни во что не ставил, но такое мотовство унижало нас обоих. Вспоминаю один из самых очаровательных обедов с Робби, в маленьком ресторанчике в Сохо, — он нам обошелся примерно во столько же шиллингов, во сколько фунтов мне обходился обед с тобой. После одного обеда с Робби я написал самый лучший из всех моих диалогов. И тема, и название, и трактовка, и стиль — все пришло за общим столом, где обед стоил три с половиной франка. А после наших с тобой лукулловских обедов ничего не оставалось, кроме ощущения, что съедено и выпито слишком много. Мои уступки всем твоим требованиям только шли тебе во вред. Теперь ты это знаешь. Это делало тебя очень часто жадным, порою беззастенчивым и всегда — неблагодарным. Почти никогда я не испытывал ни радости, ни удовлетворения, угощая тебя таким обедом. Ты забывал — не скажу о светской вежливости и благодарности: эти фамильярности вносят

неловкость в близкие отношения, — но ты совершенно пренебрегал и теплотой дружеского общения, прелестью задушевной беседы, тем, что греки называли «прекрасная отрада», забывая ту ласковую теплоту, которая делает жизнь милее, она, как музыка, аккомпанирует течению жизни, настраивает на определенный лад и своей мелодичностью смягчает неприветность или безмолвие вокруг нас. И хотя тебе может показаться странным, что человек в моем ужасающем положении еще пытается найти какую-то разницу между одним бесчестием и другим, но мое банкротство, откровенно говоря, приобретает оттенок вульгарной распущенности, и я стыжусь того, что безрассудно тратил на Тебя деньги и позволял тебе швыряться ими, как попало, на мою и на твою беду, и мне становится вдвойне стыдно за себя. Не для того я был создан.

Но больше всего я виню себя за то, что я из-за тебя дошел до такого нравственного падения. Основа личности — сила воли, а моя воля целиком подчинилась твоей. Как бы нелепо это ни звучало, все же это правда. Все эти непрестанные ссоры, которые, по-видимому, были тебе почти физически необходимы, скандалы, искажавшие твою душу и тело до того, что страшно было и смотреть на тебя и слушать тебя; чудовищная мания, унаследованная от твоего отца, — мания писать мерзкие,

отвратительные письма; полное твое неумение владеть своими чувствами и настроениями, которые выливались то в длительные приступы обиженного и упорного молчания, то в почти эпилептические припадки внезапного бешенства, — обо всем этом я писал тебе в одном из писем, которое ты бросил не то в отеле «Савой», не то где-то еще, а потом адвокат твоего отца огласил его на суде, — письмо, полное мольбы, даже трогательное, если в то время тебя что-либо могло тронуть, словом, все твое поведение было причиной того, что я шел на губительные уступки всем твоим требованиям, возраставшим с каждым днем. Ты взял меня измором. Это была победа мелкой натуры над более глубокой. Это был пример тирании слабого над сильным, — «той единственной тирании», как я писал в одной пьесе, которую «свергнуть невозможно».

И это было неизбежно. Во всех жизненных взаимоотношениях человеку приходится искать *moien de vivre*⁴. В отношениях с тобой надо было либо уступить тебе, либо отступиться от тебя. Другого выхода не существовало. Из-за моей глубокой, хоть и опрометчивой привязанности к тебе, из-за огромной жалости к недостаткам твоего

⁴ Здесь: образ действий (*фр.*).

характера и темперамента, из-за моего пресловутого добродушия и кельтской лени, из-за того, что мне как художнику были ненавистны плебейские скандалы и грубые слова, из-за полной неспособности обижаться, столь характерной для меня в те времена, из-за того, что мне неприятно было видеть, как уродуют и портят жизнь теми мелочами, которые мне, чей взор всегда был устремлен на другое, казались слишком ничтожными, чтобы уделять им какое бы то ни было внимание хотя бы на миг, — по всем этим несложным с виду причинам я всегда уступал тебе; как и следовало ожидать, твои притязания, твои попытки захватить власть, твои требования становились все безрассудней. Самые низкие твои побуждения, самые пошлые вкусы, самые вульгарные увлечения стали для тебя законом, и ты хотел подчинить им жизнь других людей, а если понадобится, был готов принести в жертву без малейших угрызений совести. Ты знал, что, устраивая мне сцену, всегда добьешься своего, и, как мне верится, сам того не сознавая, доходил в грубости и вульгарности до непозволительных крайностей. И в конце концов ты сам терял представление о том, чего ты добивался, чего ты от меня хотел. Завладев моим талантом, моей волей, моим состоянием, ты, в слепоте ненасытной алчности, хотел взять у меня абсолютно все. И ты

все отнял. В ту трагическую, роковую пору моей жизни, перед тем как я совершил нелепейший шаг, меня, с одной стороны, стал преследовать твой отец, оставляя в моем клубе отвратительные записки, а с другой — ты начал преследовать меня не менее безобразными письмами. Ничего не могло быть хуже того твоего письма, которое я получил утром, перед тем как позволил тебе затащить меня в полицию и потребовать дурацкий ордер на арест твоего отца, — ты никогда не писал так гадко и по такому постыдному поводу. Из-за вас обоих я совсем потерял голову. Здравый смысл мне изменил. Все вытеснил ужас. Могу сказать откровенно, что я не видел никакой возможности избавиться от вас обоих. Я подчинился, я шел слепо, как вол идет на убой. Я сделал непростительный психологический промах. Я всегда считал, что уступать тебе в мелочах пустое и что, когда настанет решающая минута, я смогу вновь собрать всю присущую мне силу воли и одержать верх. Но ничего не вышло. В самую важную минуту сила воли изменила мне окончательно. В жизни нет ничего великого или малого. Все в жизни равноценно, равнозначно. Моя привычка, поначалу вызванная равнодушием, — уступать тебе во всем — неощутимо сделалась моей второй натурой. Сам того не сознавая, я допустил, чтобы эта перемена наложила

постоянный и пагубный отпечаток на мой характер. Вот почему Уолтер Патер в тонком эпилоге первого издания своих статей говорит: «ошибки нередко входят в привычку». Когда он это написал, скучные оксфордские ученые решили, что это только свободная перифраза порядком наскучившего текста Аристотелевой «Этики», но в этих словах скрыта потрясающая страшная истина. Я позволил тебе подорвать силу моего характера, и, превратившись в привычку, это стало для меня не просто Ошибкой, но Гибелью. Мои нравственные устои ты расшатал еще больше, чем основы моего творчества.

Когда тебе обещали ордер на арест отца, ты, разумеется, стал распоряжаться всем. В то время как мне следовало бы остаться в Лондоне, посоветоваться с умными людьми и спокойно рассудить, каким образом я позволил поймать себя в такую ловушку — в капкан — как до сих пор выражается твой отец, — ты настоял, чтобы я повез тебя в Монте-Карло самое гнусное место на белом свете, где ты день и ночь играл в казино, до самого закрытия. А я — поскольку баккара меня не привлекает, — я был оставлен в полном одиночестве. Ты и пяти минут не хотел поговорить со мной о том положении, в которое я попал из-за тебя и твоего отца. Мне оставалось только оплачивать твой номер в отеле и твои проигрыши.

Малейший намек на тяжкие испытания, ожидавшие меня, нагонял на тебя скуку. Очередная марка шампанского, которую нам рекомендовали, интересовала тебя куда больше. По возвращении в Лондон те из моих друзей, кто по-настоящему тревожился о моем благополучии, умоляли меня уехать за границу и уклониться от этого неслыханного судилища. Ты приписывал им подлые мотивы и обвинял меня в трусости за то, что я выслушивал их советы. Ты заставил меня остаться и, если выйдет, отвести от себя все обвинения бесстыдным и неправдоподобным лжесвидетельством на суде. Разумеется, в конце концов меня арестовали, и твой отец стал героем дня — нет, не только героем дня: теперь твоя семья попала в сонм Бессмертных, ибо из-за шутовских, хотя и мрачных прихотей истории — ведь Клио самая несерьезная из Муз — твой отец теперь навсегда останется среди добрых и благомыслящих героев книжек для воскресных школ, тебе будет отведено место рядом с отроком Самуилом, а я окажусь в самой глубокой трясине «Злых щелей», между маркизом де Садом и Жилем де Ретцем.

Конечно, я должен был избавиться от тебя. Конечно, я должен был бы вытряхнуть тебя из своей жизни, как вытряхивают из одежды ужалившее насекомое. В одной из лучших своих драм Эсхил рассказывает о вельможе, который

вырастил в своем доме львенка, детеныша льва, и любит его за то, что тот, радостно блестя глазами, прибегает к нему и ласкается, выпрашивая подачку, — весело глядящий на руки, ласковый по принуждению желудка. Но зверь вырастает, в нем просыпается инстинкт его породы, нрав предков, уничтожает и вельможу, и его семью, и все, что им принадлежало.

Чувствую, что и я уподобился этому человеку. Но моя ошибка была не в том, что я с тобой не расстался, а в том, что я расставался с тобой слишком часто. Насколько я помню, я регулярно каждые три месяца прекращал нашу дружбу, и каждый раз, когда я это делал, ты ухитрялся мольбами, телеграммами, письмами, заступничеством твоих и моих друзей добиться, чтобы я позволил тебе вернуться. После того как в конце марта девяносто третьего года ты уехал из моего дома в Торки, я решил никогда больше с тобой не разговаривать и ни в коем случае не допускать тебя к себе, настолько безобразной была сцена, которую ты мне устроил вечером накануне отъезда. Ты писал и телеграфировал мне из Бристоля, умоляя простить тебя и повидаться с тобой. Твой воспитатель, который остался у меня, сказал, что временами ты бываешь совершенно невменяем и что многие педагоги в колледже св. Магдалины того же мнения. Я согласился

встретиться с тобой и, конечно, простил тебя. Когда мы возвращались в Лондон, ты попросил, чтобы я повел тебя в «Савой». Эта встреча оказалась для меня роковой.

Три месяца спустя, в июне, мы были в Горинге. Несколько твоих друзей по Оксфордскому университету гостили у нас с субботы до понедельника. В то утро, когда они уехали, ты устроил мне сцену настолько дикую, настолько гнетущую, что я сказал, что нам надо расстаться. Я отлично помню, как мы стояли на ровной крокетной площадке, вокруг зеленел чудесный газон, и я старался объяснить тебе, что мы портим жизнь друг другу, что ты мою жизнь губишь совершенно, а я тоже не даю тебе настоящей радости, и что единственное мудрое, логическое решение — расстаться окончательно и бесповоротно. Позавтракав, ты уехал с мрачным видом, оставив для меня у привратника одно из самых оскорбительных писем. Но не прошло и трех дней, как ты телеграфировал из Лондона, умоляя простить тебя и позволить тебе вернуться. Дом был снят ради тебя. По твоей просьбе я пригласил твоих собственных слуг. Меня всегда страшно огорчало, что из-за своего ужасного характера ты становишься жертвой таких диких вспышек. Я был очень привязан к тебе. И я разрешил тебе вернуться

и простил тебя. А еще через три месяца, в сентябре, начались новые скандалы. Поводом был мой отзыв о твоём переводе «Саломеи», когда я тебе указал на твои ученические ошибки. К тому времени ты уже настолько знал французский, что и сам мог бы понять, насколько этот перевод недостоин не только тебя как оксфордского студента, но недостоин и оригинала, который ты пытался передать. Тогда ты, конечно, этого не признал, и в одном из самых резких писем по этому поводу ты говорил, что «никаким интеллектуальным влиянием» ты мне не обязан. Помню, что, читая эти строки, я почувствовал, что за все время нашей дружбы это была единственная правда, которую ты мне написал. Я понял, что человек духовно менее развитый соответствовал бы твоей натуре гораздо больше. Говорю об этом без горечи, — просто в этом сущность всякого содружества. Ведь, в конечном счете, любое содружество, будь то брак или дружба, основано на возможности беседовать друг с другом, а такая возможность зиждется на общих интересах, тогда как у людей совершенно различного культурного уровня общие интересы обычно бывают самого низменного свойства. Тривиальность в мыслях и поступках — очаровательное качество. Я построил на нём блистательную философию моих пьес и парадоксов. Но вся накипь, вся нелепость нашей

жизни часто становились мне в тягость; мы с тобой встречались только в грязи, на самом дне, и какой бы обольстительной, слишком обольстительной ни была единственная тема, к которой сводились все твои разговоры, мне она в конце концов стала приедаться. Порой мне становилось смертельно скучно, но я терпел и это, как терпел твое пристрастие к мюзик-холлам, твою манию бессмысленных излишеств в еде и питье, как и все неприятные мне черты твоего характера: с этим приходилось мириться — это была часть той дорогой цены, которую надо было платить за дружбу с тобой. Когда я, после Горинга, поехал на две недели в Динар, ты страшно рассердился на меня за то, что я не взял тебя с собой, непрерывно устраивал мне перед отъездом неприятнейшие сцены в отеле «Альбемарл», а потом послал несколько столь же неприятных телеграмм в имение, где я гостил несколько дней. Помнится, я тебе сказал, что твой долг — побыть некоторое время со своими родными, так как ты все лето провел вдали от дома. Но на самом деле, буду с тобой совершенно откровенен, я ни в коем случае не мог допустить тебя к себе. Мы пробыли вместе почти три месяца. Мне необходимо было передохнуть, освободиться от страшного напряжения в твоём присутствии. Мне непременно нужно было остаться наедине с собой. Отдых был

мне интеллектуально необходим. Сознаюсь — тогда я решил, что то твое письмо, о котором я говорю выше, послужит отличным предлогом прекратить роковую дружбу, возникшую между нами, — и прекратить ее без всякой горечи, что я уже и пытался сделать в то солнечное утро, в Горинге, три месяца назад. И надо сознаться, что один из моих друзей, к которому ты обратился в трудную минуту, объяснил мне, какой обидой, более того — каким унижением для тебя было получить свой перевод обратно, словно школьную работу; мне было сказано, что я предъявляю слишком высокие требования к твоему интеллекту, и что бы ты ни писал и ни делал, все равно ты безраздельно и безоговорочно предан мне. Я не хотел мешать тебе в твоих литературных опытах, не хотел обескураживать тебя. Я отлично знал, что ни один переводчик, если сам он — не поэт, никогда не сможет в должной мере передать ритм и колорит моего произведения; но мне всегда казалось, да и до сих пор кажется, что нельзя так легко швыряться столь прекрасным чувством, как преданность, поэтому я вернул и перевод и тебя. Ровно через три месяца, после целого ряда скандалов, окончившихся совершенно безобразной сценой, когда ты явился в мой рабочий кабинет с двумя или тремя приятелями, я тут же, на следующее утро, буквально бежал от тебя за границу, под каким-то

нелепым предлогом, которым я пытался успокоить свою семью, и оставил своим слугам фальшивый адрес, боясь, что ты бросишься вслед за мной. Помню, как в тот день, когда поезд уносил меня в Париж, я думал, в какой невыносимый, ужасный и абсолютно бессмысленный тупик зашла моя жизнь, когда мне, всемирно известному человеку, приходится тайком бежать из Англии, чтобы избавиться от дружбы, совершенно губительной для меня как в моральном, так и в интеллектуальном отношении; причем тот, от которого я бежал, был не какое-то исчадие помойных ям или зловонных трущоб, возникшее среди нас и ворвавшееся в мою жизнь, это был ты, юноша моего круга, который учился в том же оксфордском колледже, что и я, постоянный гость в моем доме. Ко мне, как всегда, полетели телеграммы, полные раскаяния; я не обращал на них внимания. Наконец, ты стал угрожать мне, что, если я не соглашусь с тобой повидаться, ты ни при каких обстоятельствах не согласишься уехать в Египет. Ты знал, что с твоего ведома и согласия я просил твою матушку отослать тебя из Англии в Египет, подальше от пагубной для тебя жизни в Лондоне. Я знал, что если ты не уедешь, это будет для нее ужасающим разочарованием, ради нее я согласился встретиться с тобой и под влиянием сильного чувства, о котором даже ты, наверно, не

смог позабыть, простил тебе все прошлое, хотя не сказал ни слова о будущем. Помню, как, возвратившись в Лондон на следующий день, я сидел у себя в кабинете, грустно и сосредоточенно пытаюсь решить для себя — действительно ли ты такой, как казалось, вправду ли ты так чудовищно испорчен, так беспощадно губителен и для окружающих и для самого себя, так пагубно влияешь даже на случайных знакомых, не говоря о друзьях. Целую неделю я думал об этом и сомневался — не слишком ли я несправедлив к тебе, не ошибаюсь ли я в своей оценке? Но в конце недели мне вручают письмо от твоей матери. Все чувства, испытанные мной, были выражены в этом письме. В нем она говорила о твоём слепом и преувеличенном тщеславии, из-за которого ты презирал свою семью и называл своего старшего брата, эту *candidissima anima*,⁵ филистером, рассказывала о твоей вспыльчивости, из-за которой она боялась говорить с тобой о жизни, о той жизни, которую, как она чувствовала и знала, ты ведешь, о твоём отношении к денежным делам, огорчившим ее по многим причинам, о том, как ты деградировал, как изменился. Она, разумеется, понимала, что ты отягощен ужасной

⁵ Чистейшую душу (*лат.*).

наследственностью и откровенно признавалась в этом, признавалась в отчаянии. «Из всех моих детей, — писала она о тебе, — он один унаследовал роковой темперамент Дугласов». В конце она писала, что считает своим долгом заявить, что наша дружба с тобой, по ее мнению, настолько раздула твое тщеславие, что стала источником всех твоих дурных поступков, и настойчиво просила меня не встречаться с тобой за границей. Я тотчас же ответил ей, что согласен с каждым ее словом. Я еще многое добавил. Я был с ней откровенен — насколько это было возможным. Я рассказал ей, что наша дружба началась, когда ты еще учился в Оксфорде и пришел ко мне с просьбой помочь тебе выпутаться из очень серьезных неприятностей весьма личного характера. Я писал ей, что в твоей жизни такие неприятности возникали непрерывно. Тогдашнего своего приятеля ты считал виноватым в том, что тебе пришлось ехать в Бельгию. А твоя мать винила меня в том, что я тебя с ним познакомил. И я переложил вину на истинного виновника — на тебя. В конце письма я заверил ее, что не имею ни малейшего намерения встречаться с тобой за границей, и просил ее задержать тебя там как можно дольше, либо при посольстве, либо, если это не удастся, для изучения местных языков — словом, просил ее найти любой способ удержать тебя за границей, по крайней мере, на два или три